

Как ни странно, а вернее, как ни печально, о Владимире Соколове, замечательном русском поэте, написано непростительно, несправедливо мало. Что особенно видно в эти дни 90-летнего юбилея поэта. Сказано о нём в своё время было много, написано мало. Хотя русская литература второй половины XX века непредставима без его неповторимой узнаваемой поэтической интонации. Именно Соколов, как бы несколько отстранённо, не форсируя голоса, тихо и несуетно идя своим путём, вернул в современную поэзию забытую культуру и обаяние русского стиха и то, что можно назвать русской интеллигентностью, связав в собственном творчестве традицию девятнадцатого и начала двадцатого, Серебряного века.

Не удивляюсь истории, услышанной от Николая Константиновича Старшинова, что когда однажды в литературной компании зашёл спор с Соколовым о значении какого-то слова и кто-то уже собирался за словарём, Владимир Николаевич твёрдо и без всякого юмора сказал: «Зачем? — я сам словарь русского языка!..» И действительно, он, как всякий истинный поэт, сам был носителем целого космоса родного языка, его стихии, таящихся в нём пророческих откровений.

Критики не раз ломали голову над знаменитым, ставшим программным признанием поэта, воспринятым едва ли ни как идеологический вызов в пику тогдашней крикливой эстрадности поэтов-шестидесятников с их санкционированной крамольностью: «Со мной опять Некрасов и Афанасий Фет» (Вдали от всех парнасов...», 1960)... С Фетом всё было более или менее понятно — классический русский стих, который, как сказано у Соколова, — «врачует», что в реминисцентном ауканьи с Боратынским, писавшим: «Болящий дух врачует песнопенье», могло давать дополнительный скрытый подтекст. (Кстати, лирику Фета почему-то никто не называл «тихой», а к Соколову прилепили это нелепое определение, хотя его лирику скорее уж можно было бы назвать интимной или медитативно-философской...) А вот Некрасов с его открытостью прямого и беспощадного высказывания вроде бы никак не проявлялся. И вдруг, ближе к закату жизни, в 1988 году, неожиданно происходит взрыв некрасовской энергии:

Я устал от двадцатого века,
От его окровавленных рек.
И не надо мне прав человека,
Я давно уже не человек.

Великое стихотворение В. Соколова раздалось подобно звуку оборванной струны в финале «Вишнёвого сада». В последней ремарке к пьесе А. Чехов писал: «Слышится отдалённый звук, точно с неба, звук лопнувшей струны, замирающий, печальный. Наступает тишина, и только слышно, как далеко в саду топором стучат по дереву». Это и есть пророческие откровения, таящиеся в космосе родного языка. Так заканчивался страшный двадцатый век, так, даже помимо воли поэта, через его слово, возникает предчувствие гибели империи, гибели страны, над которой, словно над прекрасным вишнёвым садом, предательскими руками уже занесён топор истории.

Упоминание «Вишнёвого сада» неслучайно. Когда-то Николай Рубцов в разговоре назвал Соколова дачным поэтом. Что-то было схвачено в безобидно-мимолётной оценке. Интимная интонация, некоторая старомодность со всеми приметамы как бы уходящей природы с её запустелым садом, с заигранной хрипящей пластинкой, с большими сиренями, дымками, туманами, неспешная созерцательность и сосредоточенность, волнующее предчувствие мига, «что всё это канет во мгле...». Какая-то неподвижность в повествовании о «том, что происходит, когда не происходит ничего» («это у меня от Чехова», — охарактеризованно признаётся Соколов). После Чехова будет бунинское «И ветер, и дождик, и мгла», «Я на даче один...», остаётся только «камин затопить», и, разумеется, «пить...». Но чеховское будет возвращаться как в гениальном стихотворении «Рощу и поле дождём замутило»:

Рощу и поле дождём замутило.
Помню, какая тоска охватила

От усложнённого эхом гудка,
Словно из юности, издалека...

...Это дождя отшумевшего шорох
В листьях и память о тех, о которых...

Это закат на пруду и на вербе,
Это шампанское марки «их штербе»,

Это случайный отъезд на века
Без проводницы и проводника.

Потрясает своею пронзительностью — «шампанское марки „ихъ штербе“», как напоминание о последнем глотке шампанского с предсмертными словами Чехова, сказанными по-немецки, «их штербе» — «я умираю»... Такой силы стихи вдали от России писали только Владислав Ходасевич и поздний Георгий Иванов, да ещё Бунин. И здесь есть неразгаданная наша национальная тайна, по которой русский художник может обойтись даже без Толстого и Достоевского, но не без Чехова...

В стихах Соколова, в его хрипящей пластинке, в «шампанском марки „их штербе“», в женской тени, «нежно идущей на ущерб», в неповторимом «васильковом, ромашковом» венце, в его «звезде полей над отчим домом»... — неуловимо-пленительно присутствует тоненький пьянящий аромат, сладкий яд романа, такая смесь Полонского — Блока — Георгия Иванова — Вертинского с их «И слишком устали, и слишком мы стары // И для этого вальса и для этой гитары», словно и к самому Соколову относятся слова Г. Иванова «Мы жили тогда на планете другой». Неслучайно, одна из последних поэм Соколова называется «Пришелец», герой которой является альтер-эго автора.

В. Соколов влиял на наше послевоенное поколение как-то незаметно, исподволь, так, как будто, живя рядом с нами, был действительно пришельцем из иного культурного кон-

текста, из внутренней духовной эмиграции, из незнакомого нам русского зарубежья, откуда он так ностальгически чисто признавался: «Чёрные ветки России // В белом, как небо, снегу. // Эти тропинки глухие // Я позабыть не смогу», откуда он, подобно Георгию Иванову мечтает «Вернуться в Россию стихами», в свою Россию, со своей тверской родиной, с московскими улочками, с любимой Марианной, с любимым русским снегом, вернуться туда, где: «Хотел бы я долгие годы // На родине милой прожить, // Любить её светлые воды // И тёмные воды любить»...

Следы влияния Соколова можно отыскать на поэтических строках многих из моего поколения. Непостижимая тайна есть в самом грамматическом строении его фразы, он один из самых интонационно узнаваемых поэтов, которого можно угадать по первой строчке любого стихотворения, «Вот и нет меня на свете...», «Когда смеются за спиной...», «В дни, когда рано темнеет...», «Спасибо, музыка, за то...», «Вот мы с тобой и развенчаны...», «Нет сил никаких улыбаться...», «Извилист путь и долог...», «Сальери, мастер в высшей мере...», «Не уважаю не ревнивых», «Весь в перьях сад, весь в белых перьях сад», «Нет школ никаких. Только совесть...», «Пластинка должна быть хрипящей...», «Упаси меня от серебра...»...

Юрий Поляков, к первой поэтической книге которого В. Соколов написал напутственное предисловие, через много лет назвал своего учителя и старшего товарища «классиком», который по определению «обречён на гармонию». Но гармония она тоже даётся как дар, как фаворский свет, внезапно преображающий. О чуде встречи с собственной судьбой Соколов помнил всегда:

Ученический зимний рассвет.
На окне ледяные подтёки.
Я не знал до шестнадцати лет,
Как бывают пленительны строки.

Но это трудный дар. Марианна Роговская, жена и муза Соколова, помнит его выстрадавшее долгим опытом откровение: «Мучительней, чем несказанность, я не знал на земле ничего». И ещё читаем у него: «Всегда хочется поймать переход времени в вечность». Человек с негромким голосом написал он очень важные, драгоценные для русской поэзии и русской мысли стихи... Поэт фронтового поколения С. Наровчатов был безусловно прав, говоря о «спокойном» и «грустном великодушии» поэзии В. Соколова, который при всём своём природном аристократизме, был плоть от плоти простого русского народа, рождённый в срединной России, в городе с горьким символическим названием Лихославль Тверской области. И не было у него никакой отрешённости от общей судьбы своей Родины, своего народа. «Я понял жизнь свою, как жизнь людей...», — скажет он в зрелом возрасте с чувством обрётённого счастья и мудрости. При том, ничуть не обольщаясь и не впадая в гордыню, помня, в каком реальном мире мы живём, где культурное одичание правит свой пошлый бал. Так, К. Ваншенкин с горечью вспоминает, что когда его друг Владимир Соколов получил российскую Пушкинскую премию, молодая дикторша ТВ сообщила в последних известиях: «Премия присуждена писателю Саше Соколову...». А потому В. Соколов с христианским смирением считал для себя, для своего бессрочного труда, достаточным и достойным всего лишь:

Заручиться любовью немногих,
Отвечать перед ними тайком —
В свете сумерек мягких и строгих
Над белеющим черновиком.